

Некрасов Виктор

Мама

Виктор Платонович Некрасов

МАМА

В этом году ей исполнилось бы сто четыре года. Двадцать четвертого июня. Прожила она девяносто один. Умерла 7 октября 1970 года.

Покойся на Банковском кладбище. Рядом с матерью и сестрой. Мне на этих могилах не бывать, цветов не класть. Делают это друзья. Спасибо им.

Смотрю на нынешних мам. Нельзя! Исключено! Не разрешаю! Мопед зависит только от твоих отметок. Перестань! Прекрати! Нельзя и всё!

И так, с утра до вечера, вернее, с момента прихода из школы до "Спать! И никаких телевизоров!"

За всю жизнь не припомню случая, чтоб мать отчитала меня. Или что-либо запретила. Чему-то удивлялась - "И почему вы всегда уроки оттягиваете до последней минуты? У меня всё с субботы было готово, воскресенье гуляла". Иной раз огорчалась. И то, когда я достиг определенного возраста и стал переступать некие грани.

Ни разу, до самого своего последнего дня, не припоминала она мне прискорбного случая, когда я впервые переступил эти грани.

После одной из получек (работал я тогда, окончив профшколу, на строительстве киевского вокзала) , мы завалились в "Континенталь", лучший в Киеве ресторан. Как вернулся домой, не помню, но то, что вся изысканная континентальская закуска оказалась не только на полу, но и на стенах, помню хорошо. Очнувшись утром, я не

обнаружил ни малейших следов своего позора. А мыть полы мать не умела и не любила.

Не очень радовали ее и поздние мои возвращения. За полквартила я уже видел ее маленькую фигурку на балконе. "Поверь мне, - возмущался я, - твое дежурство ни на минуту не приблизило часа моего возвращения..." Мать смущалась: "Никакого дежурства. Просто вышла подышать немного, вечера такие душные..."

Никогда не поучала, не учила уму-разуму. Наоборот. Понятия "отличник" в мои годы не было. Тем более, идиотского "хорошист". Был "уд" и "неуд". Эти вторые не часто, но всё же иногда появлявшиеся в дневнике, в отчаяние ее не приводили, напротив - "Не будь только первым учеником, - уговаривала она, - в наше время это считалось неприличным..." И я строго придерживался ее указания. Пожалуй, даже строже, чем надо. Сохранилась "четверть" тех лет - "Сведения о занятиях ученика 3-й группы В. Некрасова. 8 апреля 1922 г. Математика - слаб: ошибается в вычитании и в таблице умножения. Никакого понятия о делении". (Мало что изменилось с тех пор - очень помогает мне в тяжелую минуту вычислительная машинка за 40 франков). По поводу этой огорчительной оценки, к математику, ненавистному Кругляку, ходила объясняться бабушка, мама считала это непедagogичным.

Так же не вмешивалась она и в религиозное воспитание сына. Все мои бонны были верующими. Перед сном, стоя на коленях я долго молился, вызывая бурное негодование старшего брата Коли. Он написал даже матери (жил тогда в Миргороде) длинное, гневное послание, начинавшееся словами: "Зина! Когда же

кончится, в конце концов, это безобразие?" Ответ был краток: "Не беспокойся, сам разберется".

Когда я разобрался и перестал верить в Бога, не помню. А почему? Во всяком случае, не антирелигиозная пропаганда тому была причиной. Думаю, что она, напротив, должна была приблизить к Нему. Возможно, улови я на каком-нибудь изображении Христа улыбку, я остался бы верующим.

Мать не баловала меня (это была прерогатива бабушки), но глубоко была убеждена, что хвалить лучше, чем порицать. Думаю, что она была права. Сужу по себе - похвалят, стараюсь сделать еще лучше, поругают - не исправляюсь, задираюсь, настаиваю на своей правоте. Уверен, что в какой-то степени именно это сыграло определенную роль в моих отношениях с теткой, домашним диктатором, и Советской властью. Обе делали упор на мои недостатки, строптивость, мать же, если и не всегда потакала, то, как говорится, мирволила.

Всё прогрессивное человечество осуждало мое увлечение театром. "Подумайте только, учится в институте, выбрал прекрасную профессию, будет скоро архитектором и вдруг, просто не верится, пошел в комедианты". А потом, когда изгнанный из Киевской Русской драмы, стал на клубных сценах глаголом жечь сердца в каких-то "Парижских нищих" и "Тайнах Нельской башни", руками только разводили: "Ненормальный и только. Куда родители смотрят?" А родительница, всем наперекор - "Ведь он такой способный. Даже в шарадах был лучше всех. И Станиславскому, вот, понравился, обещал в свою студию принять".

Мое вступление в партию тоже не осудила, в противоположность тетке. Та, несмотря на свою дореволюционную дружбу с большевиками (Ногин, Соловьев), считала, что идеалы опозорены и состоять в партии неприлично.

Как ни странно, но ничего антисоветского в нашей семье не было. А ведь и ничего хорошего эта власть им не дала. Не преследовала, не угрожала, но вряд ли можно было сравнивать нынешнюю коммунально-примусную жизнь с дореволюционной швейцарско-парижской.

Не в характере матери было кого-то осуждать. Исключение составляли только мои обидчики. Но даже Хрущева, главного из них, когда его сняли, очень жалела. "Ну, как это можно? Вчера еще на руках носили, дорогой, любимый, а сегодня... Как ты думаешь, ему, как пенсионеру, два месяца в году разрешат работать? Ведь он такой деятельный и говорить так любит..." От всей души жалела. Только вот маршалу Жукову никогда не могла простить, что он фильм "Солдаты" запретил. Даже былые заслуги не принимались во внимание.

Всю жизнь она работала. В 1906 году закончила университет в Лозанне, а через два года "Зинаида Николаевна Некрасова, урожденная Мотовилова, вероисповедания православного, дочь дворянина, доктор медицины Лозанского университета, подверглась, с разрешения Министерства Народного Просвещения, испытаниям в Медицинской Испытательной комиссии при Императорском Харьковском Университете в апреле и мае месяцах 1908 года, при чем оказала следующие успехи... и удостоена степени "лекаря".

С успехами произошла, правда, небольшая накладка. Студентами принято было решение, чтоб не иметь никаких преимуществ перед своими товарищами-евреями, на отметки выше "удовлетворительно" не соглашаться. (А? Ничего себе при Николае Кровавом было?). "А вот этому дураку профессору так понравились мои, видишь ли, ответы, что он по фармации и по фармакогнозии поставил "весьма". И получилось черт знает что. По всем предметам еле-еле, дура-дурой, а тут вдруг весьма!" Очень огорчалась, до старости лет.

Забавная деталь. Когда для чего-то снималась копия харьковского диплома, слово "Императорский" было выкинуто. Любопытное новшество в советском нотариате.

В годы первой мировой войны мать работала в Париже, в военном госпитале. Потом в Киеве, чуть ли не до начала Отечественной войны, врачом для посещения на железной дороге. Между харьковским и парижским был еще не совсем ясный для меня период, от которого сохранилась белая эмалированная дощечка "Д-р З.Н. Некрасова, прием от-до", упоминание о том же докторе в разделе "Женщины-врачи" в "Путеводителе по Киеву" за 1913 г. и нелепое, особенно рядом с диваном павловского ампира, гинекологическое кресло. Использовалось оно, в основном, мною - сваливал на него рулоны своих чертежей.

Врачем мать была хорошим. Больные ее обожали. Через десятки лет какие-то старушки и старички бросались на улице ей в объятия. "О! Солнышко вы наше, как вы, что вы? Смотрите, и не изменились совсем". Мать скептически улыбалась: "Господи, неужели я и тогда

такой обезьяной была?" Лобзали ее на улице и бывшие, повзрослевшие уже дети - придя к больному, мать, само собой разумеется, выслушивала и ставила градусники всему семейству.

Районом маминого обслуживания была Демиевка, ставшая в последствии Сталинкой, и бывшая Ямская улица, воспетая в свое время Куприным. Обход, естественно, совершался пешком (за это полагалось дополнительное вознаграждение - "шаговые") , в любую погоду, преодолевая любые препятствия. Пригодилось маме ее альпинистское прошлое - по узкой, скользкой тропинке между двумя глинищами, окрещенной "Дарданеллами", я б сейчас ни за какие коврижки не пошел, а она как ни в чем не бывало. Только ноги потом долго надо было отмывать - ходили тогда все босиком, даже врачи.

Любили мать не только больные, любили все. Любили мои товарищи школьные, институтские, послевоенные, любили соседи, сослуживцы, даже жившие в нашей уплотненной квартире КГБ-исты (думаю, именно поэтому, не было у нас никаких неприятностей по этой части). Любили за веселость, за умение видеть в жизни в основном светлое (тетка, напротив, только темное Господи, до чего же были они разные!), за доброту, приветливость, щедрость ("Слушай, ты ж только что получил гонорар, почему ничего не дал Жене, ведь они сидят без копейки денег"). Когда я неожиданно, после первой книги, разбогател, за нашим столом, как правило, собиралось - в обед, к вечернему чаю - не меньше десяти-двенадцати человек. Прижимистая наша домработница Ганя только шипела и негодовала - "Ходють, ходють, як в ресторан, хоч бы хто потим посуду

помыв..." - а мать только волновалась, почему второй день нету Евгении Григорьевны, не заболела ли, узнай.

Человеком она была не только веселым и компанейским - „Ну, что вы всё сидите, дымите и Никиту ругаете - пошли в кино! Галопом! Где мои туфли?" но и не отстающим от века. Очень одобряла короткие юбки, - удобно в троллейбус влезать,- читала "Известия (интереснее, чем "Правда"!)" и велела мне даже подписаться на "Новое время", которое, скажу по секрету, по-моему не читала. И в то же время она была и "старорежимной" - держать слово, быть всегда на высоте, не лгать, не пресмыкаться - вот, что она требовала от людей. Нет, не требовала, она ни у кого никогда ничего не требовала, просто люди, не соответствующие этому эталону, скажем так, встречались менее радушно.

Как врач, она была безотказна, - в любую минуту на край света, поэтому, возможно, и любила больше всех Исачка Пятигорского, моего друга с институтских еще лет, специальность которого была всем помогать - поступить в институт, в техникум, устроить на работу. Если у кого какие-либо осложнения, тут же призывала меня: "Позвони Исачку, он всё сделает". Кажется мне, что и Исачок больше всех на свете любил ее. "Вот ты, Вика, не замечаешь, а я провинциал, из Умани, и прямо могу тебе сказать - если есть в тебе еще что-то хорошее, то только от нее. А у нее от девятнадцатого века, - но тут же с ухмылкой добавлял, - впрочем, товарищ Сталин тоже девятнадцатого..."

Не знаю, как там с веками, но чувство долга в ней было развито до чрезвычайности. Ее слова, сказанные мне по телефону из окруженного Киева в Ростов: "Я

рада, что тебя призвали в армию. Не время сейчас в театре на броне сидеть" чуть до слез меня не довели. И не было этого знаменитого материнского "береги себя", хотя было другое, очень ее: "Смотри, пиши аккуратно". К слову сказать, в Ворошиловграде, незадолго до нашего печальной памяти наступления на Харьков, я, проходя мимо почты, зашел в нее и отправил письмо, - придет же такое в голову! - другой моей тетке, Вере, жившей не больше, не меньше, как в Швейцарии. Чудеса из чудес - письмо не только дошло до Лозанны, очевидно, через Америку, но переправлено оттуда было в оккупированный немцами Киев. Сколько счастья доставило это матери в конце года она знала, что в мае сорок второго года ее сын был жив-здоров.

Она пережила оккупацию. Думаю, самые тяжелые годы ее жизни. Работала в медпункте какого-то завода - через весь город, на Куреневку, пешком, трамваи не ходили. Воду - за два квартала, на пятый этаж, тоже пешком. Незадолго до освобождения похоронила мать мою бабушку, самого доброго человека на свете. Остались вдвоем с тетей Соней.

Дом немцы перед уходом сожгли. Переехали на другую квартиру, перетаскивая по ночам картины и прочие, дорогие как память, ненужности.

Об освобождении Киева я узнал в Баку, в госпитале, по радио. О том, что мама жива, из телеграммы - прислал друг-журналист, вступивший с войсками в Киев и сразу же разыскавший маму. Я тут же выписался и ринулся в Киев.

Маленькая, еще меньше, чем была, в неизменном своем пенсне, она стояла посреди комнаты, над печуркой и что-то варила. Потолки, стены черные, закопченные, а

посреди этого мрака, мама, источающая сияние... Трудно во всё это было поверить.

Через несколько дней я ушел на фронт и вернулся только через полгода, после второго ранения, теперь уже навсегда. И прожили мы вместе еще двадцать пять лет. Не самое ли это большое счастье в человеческой жизни?

Мамина непрактичность стала легендой. О ценах не имела даже приблизительного понятия. (Тетя Соня же всю жизнь вела книгу расходов где-то я прочел, что такая же книжка парижской консьержка времен Французской революции была бы куда ценнее любого письма Наполеона). Как-то поехала она в командировку в Одессу. Вернулась оттуда сияющая. "Была на знаменитой Молдаванке, приценивалась - почему-то все всегда интересуются ценами". - "Ну, и какие ж там цены?" - "Какие? Хорошо помню... Что-то пять, а что-то семь рублей". Никак не могла понять, почему все смеются. И напрасно смеялись. В панические дни первой денежной реформы, умудрилась, отправившись одна-одинешенька, на Евбаз (был такой Еврейский базар в Киеве, сейчас площадь Победы) притащить домой ворох весьма пригодившихся потом вещей - сапоги, муфту, лисье боа, простыни (тогда на вес золота были), какой-то чайник. "В самый последний день пришел откуда-то из Сталинграда твой гонорар. Что делать? Вот и ринулась сломя голову". О том, сколько, за что она заплатила, конечно же, и понятия не имела.

Любимым ее занятием было писание писем. И первым вопросом, протерев утром глаза: "Письма есть?". "Больше всего в жизни З. Н. любит письма, потом уже тебя", - смеялись мои друзья. Я сделал фотоальбомчик "Мать за работой". Дома, на даче, на пляже (он был на

третьем месте после писем и меня), в поезде, на пароходе, в самолете, на скамейке в скверике в ожидании чего-то. В сумочке у нее всегда хранился почтовый набор - бумага, конверты, открытки - и как только подворачивалась свободная минута, садилась и начинала строчить. Во все концы света.

Неутомимость и любознательность ее были феноменальными. Ну, что может быть такого уж интересного в Сельскохозяйственной выставке? Нет, пойдём! Идем. Обошли штук десять павильонов. Изнемогли. "Нет, мы не были еще в армянском, я люблю Армению". Но он закрыт! "Нет, не закрыт, я видела. Сидите, лентяи, а я пойду". И шла, и сняв пенснэ, внимательно читала сквозь какую-то лупу цитату из Сталина на рисовом зерне или в бинокль разглядывала что-то ликующее, изображенное на потолке. После армянского был еще азербайджанский, туркменский, все республики по очереди. Вернувшись домой - усталости не признака, - уложила чемодан, - в этот же день мы летели в Киев, - а прилетев, всё распаковала, аккуратно разложила по comodным ящикам и только тогда села за чай. Я же на ногах не держался.

Вечерние чаепития были ритуалом. После обязательной прогулки, на обратном пути покупался свежий батон, и рассевшись потом за столом, начинали то, что обычно начинается за русским столом, даже когда на нем нет бутылки. Мать принимала активное участие, опорожняя один за другим стаканы чая с лимоном. "Зинаида Николаевна, как же вы спите после такого количества?" "Прекрасно! Промываю почки. Никогда не вредит". В отличие от нынешних дам, которые часами и с увлечением могут говорить о вреде масла, соли, сахара, всего мучного, она питалась антинаучно (хотя одно

время работала диетврачом), и всех приводила в ужас, забрасывая соль горстями прямо в рот. "Всё это чепуха, все эти рационы. Организм лучше нас знает, что ему надо".

Обожала сквозняки. Ветер гулял по всем комнатам, вздымая занавески. В поезде ли, в троллейбусе моментально открывала окна, невзирая на ропот окружающих. Ненавидела слово "продуло", сама никогда не простужалась. Лекарствами не пользовалась, разве что аспирином. На пляже (до глубокой старости!) гневалась, когда я пытался раскрыть над ней зонтик. "Убери, убери сейчас же... Я за солнцем сюда приехала, а ты его заслоняешь". И, отпихнув зонтик, углублялась в последний номер "Нового мира".

Любимый ее писатель был Анатолий Франс, и с детских лет еще, Писарев. "Принеси мне, пожалуйста, Писарева", - говорила она мне, прикованная уже к постели, и в сотый раз листала "Пушкина и Белинского". Конечно же, она любила Пушкина, но всякого, кто осмеливался вступать в спор с авторитетами, еще больше. Думаю, это нас с ней сближало.

Есть такое, на мой взгляд, нелепое выражение - любить жизнь (не знаю, кто ее так уж ненавидит). Так вот, если всё же применять его, то лучшего объекта, чем она, не найдешь. Любила жизнь, людей, веселье. А жизнь-то не всегда ее баловала.

В 1919 году трагически погиб мой старший брат Коля. Ему было восемнадцать лет. Мальчик на редкость одаренный. Смотришь на его чудом сохранившиеся рисунки, висящие у меня на стенке, и диву даешься. Ни на кого не похоже, собственное лицо, слегка левоватое и очень профессионально. А нигде не учился. И писал.

Кое-что сохранилось. Тоже по-своему и совсем не по-детски. Чуть-чуть от надвигавшегося уже абсурда. Почти всю свою жизнь прожил в Швейцарии и во Франции. С матерью был очень дружен, с теткой - не очень, крутой у нее нрав был. В связи с этим и оказался он в тот нелегкий год в Миргороде, где жил наш отдаленный родственник-врач. Правительства сменялись одно за другим. В один из приходов красных у него проведен был обыск. Нашли французские книги, приняли за шпиона и убили, засекли шомполами, бросили в реку. Мать ездила на розыски, но разве найдешь?

Мне было тогда восемь лет. Помню маму, приехавшую из Миргорода. Никогда больше не видел я ее такой. Она плакала. Я тоже. Сидели вместе на диване и плакали.

Все остальные невзгоды она переносила, никогда не жалуясь. Бегала босичком по своим "Дарданеллам", во время учебных тревог в противогазе и с лорнетом (!), таскала "раненных", вот только в очередях никогда не стояла (бабушкино занятие) и старыми перьями не торговала на Евбазе (теткина работа).

Два года провели они в оккупации. Три немолодых женщины, впроголодь, без отопления, а зимы были лютые. Друзья, в большинстве евреи, кто не эвакуировался, погибли в Бабьем Яру. И об этом рассказывала мне потом мама. Просила, умоляла оставшихся - "Не ходите, не верьте им. Живите у нас пока, у нас вас никто не тронет, мы все же русские..." Нет, поверили в какое-то там гетто и пошли. Лизу Александровну, маленькую, беззащитную, одинокую проводила до самого Лукьяновского базара. Дальше не

пустили. Обнялись, заплакали и расстались. Уходя, мать слышала уже первые залпы...

Осенью сорок четвертого вернулся я. Навсегда уже...

Можно ли назвать мамину жизнь счастливой? Думаю, что да. Учитывая ее характер.

Детство и юность - Швейцария, Лозанна. Нет, они не были эмигрантами, просто тогда так велось - образование за границей лучше, чем дома. Там же встретила с моим отцом. Там же родился и Коля. В 1915 году заграничная жизнь кончилась, вернулись домой. Но Швейцарию и Францию мать вспоминала постоянно. С особой любовью и теплотой - Париж. "Вот бы тебе, Викочка, туда. И французы б тебе понравились, всегда веселые. Не то, что швейцарцы, те больше о еде и пицеварении..." Осуществилась теперь мамина мечта, я в Париже. Но сейчас не "belle époque", сейчас инфляция, веселых куда меньше. Думаю, что самой веселой, окажись она здесь, была б именно она.

Умерла она тихо. Просто не проснулась.

Последний год она прикована была к постели. Поскользнулась на полу и сломала ногу. В этом возрасте не очень рекомендуется. Кость срослась, она стала выходить с моей помощью к столу, но из дому уже не выходила. Кончились прогулки, кончилось "Галопом! В кино!". И постепенно угасла.

"Дай мне, Викочка, Писарева", - по привычке говорила она, но он уже не очень читался, больше лежала, печально глядя в окно, вспоминая иной раз Колю, а то и папу, своего папу.

- И плачу я, и плачу я, и горько-горько плачу я...

- Мам, ну что это ты?

- Да так... Ты не слушай.

Она часто повторяла эту, неизвестно откуда пришедшую к ней фразу и так это было не похоже на нее. А потом вдруг улыбнется.

- Ты помнишь еще тот стишок про ласточку? Почитай-ка мне.

И я читал чудом сохранившийся в памяти французский стишок про маленькую ласточку и ее маму, которая учит ее летать.

- И почему ты не говоришь по-французски? У тебя такое произношение...

- Ладно, ладно... Другие заботы. Пойдем лучше чай пить.

- Пойдем. А Исачок пришел?

- Сейчас придет.

- Люблю я твоего Исачка. Он лучше всех.

- Даже лучше меня?

- Сравнил... Он же не пьет. - А в глазах улыбка.

Парировать мне было нечем.

Хоронили ее в тихий, солнечный, осенний день, с падающими золотыми листьями кленов, которые она так любила собирать и сушить в толстом "Ля-руссе", а потом в зеленом однотомнике Лермонтова, сохранившимся еще с тех лет.

Покоится рядом с бабушкой и тетей Соней. В одной ограде. На похоронах было много друзей. Это они

сажают сейчас на могилу цветы. Она всегда прибрана, ухожена. Фотография трех холмиков у меня на столе. Пришла из Австралии, из Сиднея. И засушенный цветочек рядом. С того же холмика. Прислала незнакомая мне тогда еще дама - Валерия Павловна Тоцкая. Побывала в Киеве, знала когда-то мать, разыскала могилку, сняла, сорвала цветочек и через моря-океаны долетело это до меня. Как когда-то мое фронтовое письмо через весь земной шар до мамы... Не зря любила она переписку, больше чем сына, как говорили досужие языки.